Владимир Френкель

Образ искаженного мира

Путь к духовному же безумию — духовная безответственность, лучшая атмосфера для мифотворчества. Мифа еще нет, но так взрыхляется почва для него, размывается, лишается опоры, точки отсчета окружающая действительность. Причем человек, воздельвающий эту ниву, вовсе не обязательно мифотворец, он просто безответственный интеллектуал, ради красного словца, занимательного поворота мысли готовый выстроить и тут же рассыпать любую интеллектуальную конструкцию. «Он берет чужую идею, приплетает к ней ее антитезу, и каламбур готов. Есть преступление, нет преступления, правды нет, праведников нет, атеизм, дарвинизм, московские колокола, Рим, лавры... но он даже не верит в лавры... Тут казенный приплаок байроновской тоски, гримаса из Гейне, что-нибудь из Печорина, — и пошла, пошла, засвистела машина».

Это из «Бесов», о Карманинове, но и ненавидящий Карманинова Степан Верховенский почти такой же. Карманинов — просто более удачливый его двойник. Это еще предтечи и, верно, еще не ведают, что творят. Но если Николай Ставрогин, совместивший в своей душе и Бога, и диавола, сознательно доводящий и высоту и низость своё души до конца (он то уже ведает, что творит, и наслаждается этим «неведением»), если он — едва ли не самый близкий самому Достоевскому герой, то ведь все-таки главные «бесы» — ученики Ставрогина. И тут мы, люди 20-го века, уже вполне, на горьком опыте, уверенные в правоте автора «Бесов», не теми глазами читающие роман, что современники Достоевского, мы странным образом не видим, что жертва «бесовского» заговора Шатов — тоже ученик Ставрогина! Шатов, Кириллов, Петр Верховенский — всем им Ставрогин как бы раздает часть своё души и — смотрят, что будет дальше. Он сам ничего не может выбрать, он «не сильный человек», но за него выбирают его ученики. Что же они выбирают?

Если мы хорошо знаем, что несут нам объединившиеся Петр Верховенский и Шигалёв с Кирилловым впридачу, то идеи Шатова, при всей их сомнительности с ортодоксально-церковной точки зрения, близки многим из нас, как были близки и самому Достоевскому. Но Достоевский — человек «жестокий» к любым «идеям», а более всего —к своим собственным. И вот оказывается, что если Ставрогин потерял почву, потому что «народ свой перестал узнавать», то Шатов, узнавший свой народ, проповедующий его вселенскую миссию — сам не имеет почвы, ибо не в силах поверить в Бога, а без этого все его вдохновенные идеи — «скучная книга» и более ничего. Шатов тоже оказывается мифотворцем, не менее, чем Кириллов и Петр Верховенский. Более того. Если существование в наше время Албании или Камбучии убеждает нас, что шигалевскую утопию можно даже осуществить, если все более угрожающее число людей одержимо желанием любым путем «стать богом», то шатовские идеи о национальном мессианстве так и витают в воздухе, но не обретают почвы. И это в лучшем случае. В худшем — дело кончается той же шигалевщиной, только под другим флагом.

Все это наталкивает на довольно неприятную и неожиданную догадку: да уж не был ли сам Достоевский мифотворцем? Многое говорит в пользу этого: особенно в его статьях, в «Дневнике писателя». Тут и рассуждения о каких-то тайных кознях европейских политических деятелей того времени, и неопределенная «русская идея», которой все старается вредить столь же неопределенная «еврейская идея», и бесконечные диалектические повороты (может, так, а может, и этак)... Достоевский может написать, что быть русским патриотом — вовсе не значит непременно ругать иностранцев, и тут же начинает их ругать, причем зло и несправедливо. Многое, многое тут есть, что так любезно сердцу современного мифотворца. То вдруг оказывается, что вся метафизика «русской идеи» для того нужна, чтобы доказать, что Константинополь должен непременно принадлежать России. Положим, тогдашние русские политические деятели не менее Достоевского хотели того же, но уже без всякой метафизики, а в силу чистой политики. Можно себе представить, с какой оторопью воспринимали тогдашние русские сановники неожиданную апологию их политики Достоевским. (Могут возразить: а Победоносцев? Но и он понимал Достоевского так только, как ему удобно было и хотелось понимать, да еще был на голову выше любого русского сановника.)

Примерно так же, наверное, приняли взволнованную речь Мышкина гости генеральши Епанчиной. Позвольте, да ведь и это тот же Достоевский написал! Вот и ответ на вопрос, не был ли сам Достоевский мифотворцем, не сражался ли он сам с бесовщиной, одновременно сам впадая в нее. Конечно, в какой-то мере Достоевский мифотворцем был. Но именно в той, в какой им является любой творческий человек. Ведь творчество так или иначе есть создание второго мира, рядом с реальным. Бесовщина начинается не здесь.

Продолжение следует.
Начало см. «Р. М.» № 3563.

Они скорее играют роль вождей, а потом и это становится ненужным: роль сама играет ими. На роль такого вождя может попасть кто угодно: недаром же так часты слухи о двойниках подобных вождей, заменяющих их на время или навсегда.

Если бы мифотворец строил иллюзорный мир рядом с действительным, то мифотворчество было бы не так опасно. Беда в том, что подлинному мифу нужна пища, жертва — реальная действительность. Как в страшном сне, реальные предметы и понятия приобретают в мифе неподлинное, несвойственное им, лукавое значение. Собранные вокруг мнимого центра, они составляют систему, образ, не более, но и не менее убедительный, чем догма параноика. Не так ли поразительна полоненность современного мира заученными жестами и фразами, какими-то магическими заклинаниями: освободительная борьба, права угнетенных народов, империалистический заговор и т.д. В каких-то конкретных ситуациях эти слова действительно обозначают реальные вещи, но, в рамках очередного «освободительного» мифа, с непременно всемирной перспективой, они уже — не более чем заклинания какой-то ритуальной пляски. Страшно то, что подлинной реальности уже невозможно заявить о себе в этом магическом сне; хотя она тут же, рядом — ее не замечают. Миф, завороженный мифами, напоминает толпу слепых, ведущих друг друга. Или толпу бесноватых? Это зависит от того, на какой стадии находится мифотворчество. Но беснование, массовый экстаз рано или поздно кончается массовой же слепотой, безразличием, какой-то общественной летаргией.

Заговорив о «бесах», нельзя не вспомнить Достоевского. Сейчас уже так ясно, что именно он первый увидел, как начинается бесовщина, и наша, русская, бесовщина в особенности. Так явны всем сейчас бесовские знаки, когда-то угаданные, казавшиеся пародией, выдумкой, чуть ли не клеветой.

Княгиня М. К. Тенишева

Впечатления моей жизни

Главы из записок

Имена князя и княгини Тенишевых прочно связаны с историей русской культуры на рубеже XIX и XX веков. Кн. Вячеслав Николаевич Тенишев (1843-1903), помимо участия в группе промышленных и коммерческих предприятий, занимался и научной деятельностью, будучи известен как ученый-этнограф. В биографии многих крупнейших русских писателей нашего века (например, Осипа Мандельштама, Владимира Набокова и др.) вошли годы учебы в знаменитом Тенишевском училище, основанном В.Н.Тенишевым в Петербурге на Моховой улице в 1895 году.

Кн. Мария Клавдиевна Тенишева (1867?—1928) оставила в истории русского просвещения и искусства еще более замечательный след. Устроенная ею школа-мастерская в Талашкине и музей русской старины в Смоленске, существовавшие на средства частных предпринимателей круга Дягилева-Бенуа, посвященное журналу «Мир искусства» и знаменитые выставки 1899 года, решающий вклад в коллекцию второй Русского музея, благотворная помощь многим талантливым талантам и выдающимся художникам — не исчерпывают ее роли в расцвете русской культуры начала нашего века. М.К.Тенишева и сама была талантливой художницей по эмали, многолетнее изучение техники и истории этого вида искусства было ею обобщено в диссертации «Эмаль и инкрустация» посмертно издана в Праге в 1930 году. Наконец, многими художниками были исполнены портреты М.К.Тенишевой, до сих пор украшающие собой лучшие музеи в России.

В самые последние годы в советской периодической печати стали появляться материалы, частично отражающие деятельность М.К.Тенишевой, — по преимуществу, в селе Талашкине и Смоленске. Как раз об этих ее заслугах с большим чувством написал Всеволод Голоусов в книге «Продолжение времени». Одновременно были изданы, наконец, и мемуары (например, Александра Бенуа), в которых немало места было уделено описанию ее личного характера и роли в развитии отечественной культуры. Однако собственные воспоминания М.К.Тенишевой практически остаются совершенно недоступными (лишь многочисленные отрывочные цитаты из них встречаются примечаниями в западных изданиях, посвященных Серову, Бенуа, Дягилеву; своего собственного голоса М.К.Тенишева как бы лишена. А она оставила записки, изданные с некоторыми сокращениями и незначительным тиражом более 30-ти лет тому назад в эмиграции. Вл.Голоусов рассказывает, что вынужден был читать их по полуслепой фотопленке, специально взятой для этого в смоленское книгохранилище. Наверно, и в Смоленске это далеко не всем доступно.

Мы, конечно, не имеем возможности воспроизвести на газетном пространстве книгу М.К.Тенишевой, состоящую из 35-ти глав и 500-ти страниц. Предлагаем вниманию читателей лишь фрагменты этих записок, посвященные основанной ею школе-мастерской на Галерной улице в Петербурге, передаче знаменитой коллекции в Русский музей и участию в издании журнала «Мир искусства». Это — отрывки из 11-й главы, а также целиком главы 15-я и 18-я. Они печатаются по тексту первоисточника: Княгиня М.К.Тенишева. Впечатления моей жизни. Париж, изд. Русского историко-генеологического общества во Франции, 1933.

С.Д.

[Из главы XII]

Слава, приобретенная Репиным, — преувеличенная или нет, это покажет будущее — все же сделала то, к нему валили молодежь учиться со всех концов России. Однажды он предложил мне устроить в моей мастерской в Петербурге студию для подготовки молодых людей к высшему художественному образованию. Конечно, я отклонилась с радостью на это предложение, потому что в Петербурге до той поры не существовало никаких классов для перехода из рисовальных школ в Академию художеств.

Студия наша сразу завоевала себе почетное место. Желающих поступить в так называемую «тенишевскую школу» было в десять раз больше, чем позволяло помещение. В нем могли работать, при двух натурщиках, от пятидесяти до шестидесяти человек. В начале учебного сезона места брались положительно с бою, иногда даже происходили очень тяжелые сцены отчаяния, когда Репин, после пробных занятий, отставал того или другого ученика, не находя в нем достаточно данных. Горе этих молодых людей глубоко трогало меня.

Между учениками были сын Репина Юрий, Елена Маковская (дочь Константина) и Иван Яковлевич Билибин, ставший потом известностью. Он был еще в университете, когда начал ходить к нашу студию. Кроме него, было еще несколько студентов, один инженер. Или, очень талантливый, впоследствии уехавший в Англию и ставший там знаменитостью, было еще много барышень и даже офицеров. Компания была в высшей степени пестрая, милая, со страстью отдававшаяся работе, искренно любившая искусство. Народ все способный, молодой и многообещающий. Репин приходил раз в неделю, а иногда чаще, поправлять этюды, а раз в месяц устраивал конкурс эскизов на заданную тему.

Студия выходила на Галерную. На этой улице не было ни ресторана, ни приличной столовой или кондитерской. Пойти закусить или позавтракать было некуда, приходилось для этого переходить огромную Исаакиевскую площадь. Бог весть куда, что отнимало много времени. Петербургский зимний день уж и так короток, поэтому многие предпочитали голодать до вечера. Я придумала, чтобы устранить это неудобство, устроить в особой комнате, рядом с мастерской, что-то вроде чайной. В двенадцать часов подавался огромный самовар с большим количеством булок. Вначале мои художники стеснялись пользоваться даровым чаем, отказывались под разными предлогами, некоторые даже удирали до двенадцати часов, но потом понемногу привыкли к этому обычаю, тем более, что я приходила вначале сама с ними пить чай во время перемены, приглашая составить мне компанию. В конце концов, все до такой степени привыкли к этому чаю, что потом, уже поступив в Академию, прибегали к нам оттуда, даже приводя с собой товарищей. Меня же это очень радовало.

Иногда у нас в студии по вечерам собирались художники, пели, играли и даже танцевали, устраивались чтения и всегда было так молодо, весело, непринужденно. Однажды я устроила для моих больших детей наряжную елку, на которой красовались карандаши, резинки и много сладостей, а потом мы до утра танцевали. Кажется, это единственное место в Петербурге, где я так от души веселилась.

А вот и причина, почему я подверглась стольким неудачным портретам Репина,— портреты были предлогом заинтересовать, закупить его, как популярного руководителя, и вот почему я постоянно терпела неудовольствия мужа и частые упреки. Я старалась поддерживать наши, кажущиеся добрыми, отношения с Репиным только ради студии, которая, благодаря портретам, процветала и дала блестящие результаты. Это была жертва для идеи.

Студия просуществовала восемь или девять лет и была закрыта исключительно по капризу Репина, не пожелавшего больше его заниматься, вероятно, потому, что интересы, которые он преследовал, не увенчались ожидаемым успехом.

Параллельно с моей петербургской студией я открыла начальную рисовальную школу в Смоленске. Репин очень меня поддерживал в этой затее и даже выхлопотал мне из Академии несколько художественных классических гипсов для цели. Но, несмотря на это, Репин остался Репиным. Желая отделаться от своего помощника в нашей студии, Куренного, — человека мало способного и как преподавателя, и как художника, вялого, типичного хохла, — порекомендовал мне его как руководителя для смоленской школы. Думая, что он будет там более на месте, чем в Петербурге, я взяла его.

В Смоленске у Киту* был дом, в котором мы обыкновенно останавливались, когда приезжали на лошадях в город. В нем я устроила школу, приспособив здание для этой цели: в верхнем этаже были устроены курсы, а в нижнем — квартира Куренного.

Цель школы были привлечь побольше мастеровых и дать им знание рисования, которое в их работе очень ценно. В Смоленске, например, процветает гончарное производство, и мастер, подучившись рисовать, мог бы с большим вкусом разрисовать свои горшки и тем поднять как самое производство, так и стоимость своих изделий. Точно так же и столяры, резчики и т.д.

Но из мастеровых поступило очень мало. Было два-три мальчика лет пятнадцати-шестнадцати, остальной же контингент состоял почти исключительно из барышень, которые от нечего делать бросаются во все конструкторы, курсы и рисовальные классы, без всякого к тому призвания.

По приезде в Смоленск на следующую весну, я с горестью увидала, что моя школа напоминает школу Штиглица или Общества поощрения художеств, где, например, обучались когда-то сестры Тепловы, которым вовсе было чуть не двести лет... Я отлично это я неуменью Куренного привлечь к себе народные силы, несмотря на все мои письма и указания ему. Впечатление, вынесенное мной, было плачевное и очень расходило меня в этому делу. Куренной же произвел совсем умиротворяющее впечатление. С своим вечно красным лицом, глубоко сидящими, маленькими, хитренькими глазами, он сделался поэтичным в этой группе взыскующих и окружающих его дамы, придал себе томный вид и облекся в светло-серый костюм, с бесконечно длинными концами белого галстука, — вероятно, желая придать себе вид странного мистера... Все это мне очень не понравилось, и не для этого я открывала школу.

Как раз в это время, когда меня постигло такое разочарование, мой муж отобрал свои учебники на Моховой, и как когда-то Репин ловко свалил с себя Куренного на мою шею, так же ловко я передала его мужу в качестве преподавателя рисования для его петербургской школы. Этим и ограничилась деятельность смоленской школы, просуществовавшей всего две-три зимы.

Продолжение следует

* Кн. Екатерина Константиновна Святополк-Четвертинская (ум. 1942) — ближайшая подруга и помощница М.К.Тенишевой. (*Прим. ред. «Р. М.»*)